



Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ

Из воспоминаний о М. А. Волошине

По просьбе М. С. Волошиной, заботливо собирающей все впечатления о Максимилиане Александровиче, сохранившиеся у знавших его людей, попытаюсь зарисовать его облик, каким он сохранился в моей памяти.

Мне хотелось бы когда-нибудь написать целую книгу о Волошине, — я назвал бы ее «Pontifex maximus»¹ — потому что основным в образе Волошина было нечто жреческое, нечто античное. У меня есть материал для такой книги — записи 1924 года (Волошин — в Ленинграде и в Детском Селе), 1925 года (мое первое пребывание в Коктебеле), 1927 года (приезд Волошина в Ленинград, выставка его акварелей) и 1932 года (смерть Волошина, мой доклад о нем в Цехе художников), — но сейчас еще не настало время для этой работы, как не настала пора и для опубликования его замечательных писем.

Здесь, в Коктебеле, где отсутствие Волошина кажется особенно невероятным, невысказанным, несообразным, я хочу ограничиться воссозданием своих впечатлений, пользуясь, прежде всего, зрительной памятью и сознательно не касаясь разговоров, записанных мною раньше, но не входящих сейчас в мою тему.

* * *

Впервые я увидел М. А. Волошина весной 1924 года на площади Островского, около Публичной библиотеки. Он шел под руку с женой, по направлению к Невскому, по-видимому, только что побывав у Е. С. Кругликовой², живущей против Александринского театра. Я узнал его по фотографиям и по рисунку Головина³. Надо ли говорить, как необычайна была его фигура на фоне Петербурга? В ней не было, прежде

всего, ничего «петербургского»: ни в поступи, чуть грузной, но твердой и решительной, ни в многоволосьи низко посаженной, короткошейей головы, ни в костюме (короткие штаны и чулки). На ходу я не успел взглянуться в его глаза, в очертания рта и запомнил, главным образом, своеобразный склад фигуры — очень дородной, плечистой, животастой, с короткими руками и ногами; голову — с пепельной шапкой кудрей, с округлой рыжеватой-седой бородой, торчащей почти горизонтально над мощной широкой грудью. Волошина не раз сравнивали то с Зевсом-олимпийцем, то с русским кучером-лихачом, то с протопопом; сравнивали с Гераклом и со львом. Все это, в общем, верно, но в частности — не точно. — Этот «Геракл» не мог бы разорвать пасть льву, потому что лев был в нем самом («tat twam asi»⁴). Этот кучер не сел бы на облучок тройки, потому что помнил триумфальное величие античных колесниц. Он не принял бы сан иерея, потому что знал когда-то глубокие тайны элевсинских мистерий.

Казалось бы, из этой фигуры легко сделать гротеск — так много в ней отступлений от «нормы», — но неизвестно, кого же, собственно, пародировать — московского купчика или евангельского апостола? К тому же чувство достоинства, спокойствие, сановитость, которыми дышала эта фигура, отбивали охоту к шаржу.

— Познакомился я с М. А. через несколько дней, в квартире Бернгарда⁵, где он остановился по приезде в Ленинград.

С первых же слов он очаровывал: неторопливые, негромкие, мягкие слова (без всяких лишних вставок и добавок, часто засоряющих нашу разговорную речь) проникали в сознание, словно строчки стихов, набранных четким и округлым старинным шрифтом, и запоминались легко, как хорошо сделанные стихи.

Сразу приковывали к себе глаза — зеленоватые, внимательные, почти строгие глаза, глядевшие собеседнику прямо в зрачки, но без всякой въедливости и назойливости, спокойно и вдумчиво. Отчетливы и приятны были в этом лице очертания рта — изысканная линия губ: такие губы не могут произнести никакой банальности, пошлости.

Подстриженная щеточка усов подчеркивала правильность, изящество, я сказал бы — «духовность» этого рта. Впечатление духовности волошинского «лика» не умалялось полнотою, даже некоторой одутловатостью лица, массивностью всей головы, грубоватостью ее моделировки и плотностью смугло-розовой лоснящейся кожи. В этом волосатом лице с бородой, растущей чуть ли не от самых глаз, явственными были черты благородства и нежности. «Lumière verdetre»⁶, пленивший Бодлера в чьих-то глазах, излучал такое благородное спокойствие, линия губ говорила о такой нежности души, что с первого взгляда не оставалось никаких сомнений в значительности этого человека,

в его духовном аристократизме. Если угодно, он был аристократичен даже в самом внешнем, светском смысле слова: его приветливость, его умение вести разговор — умение не только «изрекать», но и слушать, вся его манера себя держать — обличали в нем прекрасно воспитанного человека.

Особенно характерно было отсутствие тех вульгарных интонационных приемов, той нарочитой аффектации речи, которою малокультурные люди, рядовые обыватели тщетно пытаются искупить бессодержательностью своей речи, неумелость и бездарность своего разговора.

В лице Волошина была монументальная неподвижность: подвижен был только рот, только губы, но не брови, не морщины. В бровях, немножко приподнятых над переносицей, был оттенок чего-то трагического. Вообще, при всей рыхлости лица и мягкотелости фигуры, от Волошина веяло сдержанной, затаенной силой, скорее германским волевым началом, самодисциплиной, чем русской «душой нараспашку» с ее добродушием и амикошонством. Чувствовалось, что этот человек духовно щедр, что он может очень много дать, если захочет, но что знает он гораздо больше, чем высказывает, и «быть» для него важнее, чем «казаться».

— Наш первый разговор продолжался недолго, едва ли более получаса, но мне сдается, что главное о Волошине я узнал тогда же, в эти полчаса. И мне было радостно, что в этом познании ничто не противоречило образу, созданному мною давно, задолго до встречи, по стихам и статьям писателя.

Я ушел от него окрыленным, обольщенным, и еще никогда не казалась мне такой «бесчеловечной», бессмысленней толпа людей, сновавших по городу: так человеку, сошедшему с горы в долину, мир кажется тесным и убогим после великолепия необъятной панорамы, развернувшейся перед ним с вершины.

Вторично мы встретились в Ленгизе (где я заведовал в ту пору художественным отделом). М. А. пришел в мой: кабинет, просмотрел работы некоторых ленинградских графиков, показанные ему мною, просил достать ему книжные новинки для пополнения его коктебельской библиотеки, обслуживавшей гостивших у него писателей и художников. Я пошел с ним к И. И. Ионову (заведовавшему Ленгизом) и познакомил их. М. А. подал Ионову заявление, адресованное, насколько помнится, не в Ленгиз, а в «Петербургское Отделение Госиздата» (это — характерно для него, как и манера писать на конвертах «С.-Петербург» или «СПбург», указывая иногда в скобках новое название города). В заявлении он отметил свою профессию, точнее — призвание: «Максимилиан Волошин, поэт».

В результате разговора с Ионовым удалось получить для Коктебеля несколько десятков лучших книг из числа выпущенных ГИЗом в 1922–1924 годах.

Мне запомнилась манера М. А. держать себя с Ионовым: он говорил с ним не как «проситель», — без малейшего заискивания, но и без всякой развязности. Казалось, что выдача книг для коктебельской библиотеки — дело естественное, давно предусмотренное, и тут в равной мере незачем ни просить, ни требовать.

Потом я встречался с М. А. в Детском Селе, у Л. И. Гирина⁷, где был устроен вечер его стихов; у А. Я. Головина, которому М. А. показывал свои акварели; бывал он и у меня.

Читал Волошин свои стихи прекрасно — без актерской декламации и без профессионально-поэтического завывания. Он тонко подчеркивал ритм стиха, полностью раскрывал его фонетику, вовремя выдвигал лирические и патетические оттенки. Читал он стоя, держась руками за спинку стула, иногда кладя на спинку только одну руку, а другой сдержанно жестикулируя. Вообще, его жестикуляция была скупа, он иногда немного подымал руку — точнее, подымал полусогнутую короткопалую, пухлую кисть руки, большим пальцем кверху, — словно желая этим движением поднять смысл и значение того или иного образа, метафоры, эпитета. Иногда он закладывал руку за поясной ремень, иногда коротким движением большого пальца почесывал бороду, изредка проводил рукой по волосам или быстро почесывал затылок.

Его чтение можно было слушать долго, не утомляясь: дикция его была отчетлива, модуляции голоса мягки. Читая, он слегка задышался, и эта легкая одышка казалась каким-то необходимым аккомпанементом к его стихам — чем-то похожим на шелест крыльев.

Когда он говорил о чем-нибудь в ироническом тоне, голос его от среднего регистра переходил к более высоким нотам, и это изменение тембра казалось адекватным его иронии, органически связывалось с шуткой. Когда он улыбался, глаза его оставались совершенно серьезными и становились даже более внимательными и пристальными. Пожалуй, улыбка — особенно широкая — его не красила, вносила какое-то «неправдоподобие» в его облик. Смеха его я не помню, не слышал.

В 1925 году, наблюдая Волошина в Коктебеле, я убедился в его соприродной связи, полной слиянности с пейзажем Киммерии, с ее стилем. Если в городской обстановке он казался каким-то «исключением из правила», «беззаконной кометой в кругу расчисленных светил», почти «монстром», то здесь он казался владыкой Коктебеля, не только хозяином своего дома, но державным владельцем всей этой страны, и даже больше, чем владельцем — ее творцом, Демиургом, и, с тем вместе, верховным жрецом созданного им храма.

В чисто житейском плане он был обаятелен, как радушный, гостеприимный хозяин, со всеми одинаково корректный (хотя и очень умевший различать людей по их духовному достоинству).

Ни о поэте Волошине, ни о художнике, ни о мудреце — не буду сейчас говорить: тема эта глубока и обширна. Мне хотелось, по мере умения, восстановить только внешний облик его, показать основные контуры его личности. Его литературная деятельность была более блестящей, чем влиятельной, — о нем можно было бы сказать, как об одном из его любимцев — Вилье де Лиль-Адане: «он был более знаменит, чем известен». К этому нужно добавить, что при всей ценности его литературного наследия (существующего, однако, для немногих) он был еще интереснее и ценнее как человек, — Человек с большой буквы, человек большого стиля. Его внутренняя жизнь достойна самого внимательного и подробного изучения: я не знаю более соблазнительной темы для «романа-биографии».

Оглядываясь на прошлое, вспоминая свои впечатления на пастбище встреч и разлук, я вижу среди многих выдающихся людей, с которыми сталкивала меня судьба, только двух, чья личность производила впечатление такой же духовной силы и неповторимого своеобразия, как личность Волошина, — людей, из которых излучалась гениальность, от которых исходили какие-то чудесные флюиды. Это — Розанов и Андрей Белый. Но их своеобразие было иное, с явной «сумасшедчинкой», которой вовсе не чувствовалось в Волошине. Фигура Волошина остается единственной, ни на кого не похожей...

Из множества существующих портретов Волошина⁸ наиболее правдивыми, то есть сочетающими внешнее и внутреннее сходство, кажутся мне портреты работы Андерса и Литвиновой (литография). Оба сделаны по фотографическим снимкам, но и по личному впечатлению. Во многом верны портреты, сделанные Габричевским и Верейским⁹. Работы больших мастеров — Кустодиева и Остроумовой-Лебедевой — малоудачны, как с формальной стороны, так и в психологическом отношении. Думается, что вполне удачного портрета Волошина вообще не существует. Из скульптур ближе других к истине голова, вылепленная Матвеевым¹⁰. Может быть, только Серов мог бы показать нам настоящего Волошина в живописи; в скульптуре это мог бы, вероятно, сделать Трубецкой.

Последняя моя встреча с М. А. произошла на днях, на вершине пустынной горы, где находится его одинокая могила. Это свидание с могильным холмиком я называю встречей. Я говорил с ним вслух, как говорят с живым, читал ему его стихи. И залетная бабочка, траурная, оранжево-черная — первая бабочка, увиденная мною в Коктебеле, — оказалась мне посланницей отошедшего духа, Психеей. Она опустилась

на могильную насыпь, тотчас взвилась над нею, закружилась в лазури и унеслась далеко, к морю.

Я спускался по крутому склону, поросшему полынью. «Божественный Ра-Гелиос» нисходил к горизонту. Великое безмолвие пустыни не нарушалось ни одним звуком. Внизу безбрежной лазурной равниной расстилался Понт Евксинский. «Безрадостный Коктебель»¹¹ лежал передо мной как на ладони, белея кубиками домов, розовея черепичными кровлями. Весь мир казался прозрачным и безгрешным, оправданным до конца. От высокой одинокой могилы киммерийского отшельника я уносил чувство примиренности с жизнью, радость встречи, странное ощущение вполне реального свидания.

Коктебель, 10 сентября 1934 г.

